**Последний урок**

Альфонс Доде

В то утро я сильно опоздал в школу и очень боялся выговора, тем более что мосье Амель собирался спрашивать у нас причастия, а я не знал ни полслова. На миг мне пришла мысль пропустить урок и побегать на воле.

Погода стояла такая теплая, такая ясная...

Слышно было, как на опушке леса свистят дрозды и как на Рипперском лугу, за лесопильней, немцы занимаются строевым учением. Это привлекало меня куда больше, чем правила причастий, но я все же устоял и поспешил в школу.

Пробегая мимо мэрии, я заметил, что народ толпится у доски с объявлениями. За последние два года оттуда к нам шли все неприятности — проигранные сражения, реквизиции, приказы коменданта; на ходу я подумал:

«Что там еще за новости?»

Но тут кузнец Вахтер, читавший объявление вместе со своим подручным, окликнул меня:

— Не торопись в школу, малый; все равно поспеешь.

Я решил, что он смеется надо мной, и, запыхавшись, вбежал в палисадник перед домом мосье Амеля.

Обычно в начале занятий стоял шум, слышный даже на улице, — хлопали крышки парт, все хором твердили уроки, затыкая уши, чтобы лучше вызубрить, раздавался стук учительской линейки:

— Потише, потише!

Я рассчитывал незаметно прокрасться на свое место под эту возню, но именно сегодня было тихо, как бывает в воскресное утро.

Через открытое окно я увидел, что мои товарищи уже расселись по местам, а мосье Амель шагает взад и вперед со своей грозной линейкой под мышкой. Каково мне было отворить дверь и войти посреди этой тишины? Представляете себе, как я краснел и дрожал.

Но нет, ничего. Мосье Амель взглянул на меня без гнева и сказал очень ласково:

— Ступай скорей на место, Франц, мой мальчик. Мы уже собрались начать без тебя.

Я перешагнул через скамью и поскорее уселся за свою парту. Только тут, оправившись от страха, я заметил, что на учителе парадный зеленый сюртук, гофрированный галстук и вышитая черная шелковая ермолка, — так он одевался только в те дни, когда приезжал инспектор или когда раздавались награды. Да и весь класс поразил меня каким-то необычайным, торжественным видом. Но еще больше удивился я, увидев, что на задних скамьях, обычно пустых, сидят и молчат, как мы, старик Хаузер с неизменной треуголкой, рядом — бывший мэр, бывший почтальон и другие жители деревни. У всех у них были печальные лица; у Хаузера на коленях лежал раскрытый истрепанный по углам букварь, а на нем положены были огромные очки.

Пока я дивился происходящему, мосье Амель взошел на кафедру и тем же ласковым и серьезным тоном, каким встретил меня, обратился к нам:

— Дети, сегодня я в последний раз занимаюсь с вами. Из Берлина пришел приказ преподавать в школах Эльзаса и Лотарингии только немецкий язык... Новый учитель приезжает завтра. Сегодня наш последний урок французского. Прошу вас быть как можно внимательнее.

Эти несколько слов потрясли меня. Ах, негодяи! Вот о чем они объявили на стене мэрии.

Последний урок французского!..

А я-то едва умел писать! Значит, теперь уж я никогда не выучусь! Значит, на том все и кончится! Как я пожалел о потерянном времени, об уроках, пропущенных ради того, чтобы искать птичьи гнезда или скользить по замерзшему Саару! И книги, которые только что были мне скучны и оттягивали руки, грамматика, священная история, казались теперь старыми друзьями, с которыми очень грустно будет расставаться. А мосье Амель! При мысли, что мне больше не придется видеть его, позабылись и наказания и удары линейкой.

Бедняга! Он надел парадный воскресный костюм в честь этого последнего урока; понятно мне стало также, зачем пришли и уселись на задних скамьях наши деревенские старики. Этим они как бы выражали сожаление, что не ходили чаще сюда, в школу. Этим они на свой лад благодарили учителя за сорокалетнюю верную службу и отдавали долг родине, уходившей от них...

На этом мои размышления были прерваны, я услышал свое имя. Настал мой черед отвечать урок. Чего бы я не дал, чтобы громко и внятно, без единой запинки, повторить пресловутые правила причастий; но я спутался с первых же слов и стоят в тоске, переминаясь с ноги на ногу, за своей партой, не смея поднять глаза. Я слышал, как мосье Амель говорил мне:

— Я не стану бранить тебя, Франц, мой мальчик, ты и так, должно быть, достаточно наказан... То-то и есть. Так вот думаешь изо дня в день: куда мне спешить, подучу завтра. А потом видишь, что получается? Наш Эльзас всегда откладывал учение на завтра, и в этом его великая беда. Ведь теперь они вправе сказать нам: как же так? Вы называете себя французами, а не умеете ни говорить, ни писать на родном языке! И в этом ты виноват не больше других, Франц, мой мальчик. Всем нам есть в чем упрекнуть себя. Ваши родители не слишком пеклись о вашем образовании. Они охотнее посылали вас работать на поле или в прядильне, чтобы получить лишний грош. А мне самому разве нечего поставить себе в упрек? Разве не поручал я вам частенько поливать у меня в саду цветы, вместо того чтобы учиться? А когда мне хотелось поудить форелей, разве не отпускал я вас без зазрения совести?..

Так, от слова к слову, мосье Амель стал говорить нам о французском языке, о том, что это прекраснейший язык в мире, самый ясный, самый стойкий, что надо сохранить его среди нас и не забывать его никогда, потому что, пока народ, обращенный в рабство, твердо владеет своим языком, он как бы владеет ключом от своей темницы... Потом мосье Амель взял грамматику и прочел нам весь урок. Я сам был удивлен, что так хорошо понимаю. Все, что говорил учитель, было очень, очень легко. Вероятно, я никогда так внимательно не слушал, а он никогда так терпеливо не объяснял. Бедный старик как будто хотел, перед тем как уйти, передать нам и сразу вложить нам в голову все свои познания.

После урока грамматики перешли к письму. Для этого дня мосье Амель приготовил нам совсем новые, выписанные красивым закругленным почерком примеры: «Франция, Эльзас, Франция, Эльзас». Прикрепленные к партам, они, точно гирлянды флажков, развевались по всему классу. И до чего же каждый из нас старался, и какая стояла тишина! Только и слышно было, что скрипение перьев по бумаге. Невзначай в комнату влетели майские жуки, но никто не обратил на них внимания, даже малыши, выводившие палочки с таким усердием, с таким старанием, словно и это уже был французский язык... На крыше школы тихонько ворковали голуби, и, слушая их, я задавал себе вопрос:

«Может, их тоже заставят петь по-немецки?»

Время от времени я отрывал глаза от страницы и видел, что мосье Амель неподвижно сидит на кафедре, всматриваясь в окружающие предметы, как будто желая унести во взгляде свой школьный домик. Подумайте! Целых сорок лет сидел он на этом месте, перед ним был все тот же двор и тот же класс. Только старые скамьи и парты обтерлись до глянца; каштановые деревья во дворе вытянулись, а хмель, посаженный им, увивал теперь окна до самой крыши. До чего тяжело ему было прощаться со всем этим и слушать, как топчется наверху сестра, складывая их сундуки! Ведь завтра они уезжали, навсегда покидали здешние края!

И все же у него хватило сил довести занятия до конца.

После письма был урок истории; затем малыши тянули: ба, бе, би, бо, бу. И старый Хаузер на задней скамье, надев очки и держа букварь обеими руками, вместе с ними твердил буквы. И он старался как мог: голос его дрожал от волнения, и так потешно было слушать его, что всем нам хотелось смеяться и плакать. О нет! Мне не забыть этот урок...

И вдруг церковные часы начали бить полдень, а затем раздался звон к молитве. В тот же миг под окнами грянули трубы пруссаков, возвращавшихся с учения. Мосье Амель побледнел и выпрямился на кафедре. Никогда не казался он мне таким большим.

— Друзья мои, — начал он, — друзья мои, я... я...

Но что-то душило его, он не мог договорить. Тогда он повернулся к доске, взял кусок мела и, нажимая изо всех сил, написал огромными буквами:

«Да здравствует Франция!»

Потом он застыл на месте, припав головой к стене, и без слов сделал нам знак рукой:

«Теперь кончено... Уходите...»